



Э. ГОЛЛЕРБАХ

В. В. Розанов: жизнь и творчество

Первая встреча моя с Розановым состоялась в Вырице (М. В. Р. ж. д.), у него на даче, куда я приехал 23 июля 1915 г., в ответ на его письменное предложение познакомиться.

Восстав от послеобеденного сна, писатель плескался за стеной, а я поджидал его, шагая по маленькому дачному кабинету. На столе лежал «Короб 2-й — “Опавших листьев”», тогда только что увидевший свет. Вскоре ко мне вышел мелкими шажками небольшого роста старичок, самой мирной и ласковой наружности. Я почему-то ожидал увидеть полного, обрюзглого «Обломова», с рыжей шевелюрой и голубыми глазами. А увидел как раз противоположное: прямого, бодрого, скорее худощавого, чем полного человека с седой головой, — изжелта седыми усами и бородкой. На подвижном лице светились лукаво и умно черные (карие) глаза. Он показался мне одновременно и тревожным, и сосредоточенным. Первые слова, им сказанные, были: «Ну, рад с Вами познакомиться... Вы — немец, лютеранин?»

В самом начале беседы выяснилось, что больше всего ценит Розанов в людях влечение к религии (вообще к религиозности) и отталкивание от позитивизма.

Разговор шел о церкви и церковности, об Университете (Петроградском) и студенчестве, о Вл. Соловьеве, Н. О. Лосском, Бергсоне, Метерлинке и др. Я смотрел на В<асилия> В<асильевича> с жадностью. Так вот каков тот человек, вокруг которого — давно ли, года три-четыре тому назад (до его исключения из Религиозно-философского общества в 1913 г.¹) — группировалась петроградская аристократия ума и таланта, — человек, в кабинете которого велись, как выразился один свидетель, разговоры «изумительные», по содержанию — единственные в Европе, единственные по самобытности и пламенности тем.

Писатель прочитал мне несколько отрывков из своей новой книги «Опавшие листья» (т. II). Кстати посетовал на критиков. Мимоходом рассказывал кое-что о Толстом, Мережковском и др. Расспрашивал о Е. В. Де-Роберти² и С. А. Венгерове, узнав, что я был их слушателем в Психо-неврологическом институте. В Венгерове его озадачивало сочетание «шестидесятничества» с увлечением Пушкиным.

В Розанове все показалось мне тогда необычайным, кроме внешности. Внешность у него была скромная, тусклая, тип старого чиновника или учителя; он мог бы сойти также за дьячка или пономаря. Только глаза — острые буравчики, искристые и зоркие, казались не «чиновничьими» и не «учительскими». Он имел привычку сразу, без предисловий, залезать в душу нового знакомого, «в пальто и галошах», не задумываясь ни над чем.

Вот это, «пальто и галоши», действовали всегда ошеломляюще и не всегда приятно. В остальном он был восхитителен: фейерверк выбрасываемых им слов, из которых каждое имело свой запах, вкус, цвет, вес, — нечто незабываемое. Он был в постоянном непрерывном творчестве, кипении, так что рядом с ним было как-то трудно думать: все равно в «такт» его мыслям попасть было невозможно, он перешибал потоком собственных мыслей всякую чужую и, кажется, плохо слушал. Зато слушать его было наслаждением.

Он нисколько не «играл роли» знаменитого писателя, не рисовался, не кокетничал. Во всем был прост, непринужден, не страхась бестактности и «дурного тона». В нем часто бывали резкие переходы от одного настроения к другому, от нежности к раздраженности, от грусти к веселости. Мысль его (в разговоре) всегда шла как-то зигзагами, толчками. Иногда он говорил что-нибудь неожиданное и очень странное, так что казался юродивым, чудачком, ненормальным. Из внешних привычек В<асилия> В<асильевича> отмечу постоянное, почти непрерывное курение: он чуть ли не весь день набивал папиросы, коротенькие, с закрученным концом, и курил их одну за другой. Своеобразна была его манера ходить — шмыгающая, словно застенчивая, но прямая. Сидел он обычно, поджав под себя одну ногу и тряся непрерывно другой ногой.

После первого свидания в Вырице я встречался с В<асилием> В<асильевичем> в Петербурге, на Шпалерной³. В 1917 г. он был весь погружен в свои «Восточные мотивы», которые начал тогда издавать (издание прекратилось на третьем выпуске): возился с египетскими рисунками, облюбовывал, обдумывал каждую деталь, умилялся, восторгался различными символами и

обрядами Древнего Египта, ругал последними словами ученых египтологов, особенно Масперо и Шампольона⁴, за то, что «дураки ни уха, ни рыла не понимают в Египте, а туда же». Его, «розановская» египтология была действительно своеобразна, — это была какая-то фаллическая лирика (изображение Фаллоса повергало его в экстаз), почти осязательное прикосновение к святыням древности, сочувствие и сомыслие, доходившее до нежнейшей влюбленности...

Квартира Розанова походила на своего хозяина: в ней не было ничего банального, — нельзя было понять, какая разница между «гостиной», «кабинетом» и «спальней»; в гостиной библиотека, множество книг, гипсовая маска Страхова, Мадонна, нумизматическая коллекция. Здесь принимали гостей, вообще это было место «разговорное» и «проходное». Рабочий кабинет (он же спальня В<асилия> В<асильевича>) был местом священнодейственного труда и дружеских бесед, интимных *tkte-a-tkt'ov*.

Помню маленькие, узенькие листочки, раскиданные на письменном столе. Только на таких полосках бумаги он и писал, других не признавал. А иногда писал на обрывках, клочках, на оторванном клочке книжной обложки, на папиросной коробке. Книг у него в кабинете не было, кроме самых любимых и нужных. «Дневник писателя» Достоевского был его настольной книгой. Библия тоже. Над столом большой портрет А. А. Рудневой (тещи В<асилия> В<асильевича>). Фотография дочерей и репродукция с портрета Розанова работы Бакста (портрет этот находится в Третьяковской галерее). Беседы наши иногда прерывались неожиданно: вдруг осенит Вас<илия> Вас<ильевича> желание окончить начатое вчера письмо или начать статью («Вы позвольте мне кончить письмо, давайте, не будем стесняться друг друга, я живо, а вы сядьте тут рядом, нам будет хорошо помолчать»). Если было воскресенье, он часов в девять начинал переодеваться и с увлечением рассказывал о какой-нибудь древнеегипетской рукописи, барахтаясь в крахмальной рубашке, упорно не влезавшей на своего владельца. Попутно ругал одних, хвалил других писателей. Очень любил он Флоренского, Эрна, Булгакова. Хорошо относился к Лернеру⁵ (но не без брезгливости и опаски), к Чуковскому (тут лицо его расплывалось в развеселую улыбку). «В<асилий> В<асильевич>, что вы думаете о Бердяеве?» — спросил я его как-то. «Ничего не думаю и думать не хочу». Не любил Розанов Амфитеатрова⁶, Гр. Петрова. О Л. Толстом говорил разное — то с оттенком раздражения, то благоговейно. Толстой показался ему при встрече прекрасным и величественным, полубогом. «Старик был чуден. Прощаясь, я поцеловал его и

поцеловал его руку, — ту благородную руку, которая написала “Войну и мир” и “Анну Каренину” и столько, столько еще, что, читая, мы были так счастливы и говорили про себя: “Как хорошо, что я живу, когда живет он, не раньше, не до него: и вот теперь так счастлив за этими страницами художества, поэзии и мудрости”. Все это не помешало, однако, Розанову объявить (в «Уединенном»), что «Толстой прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь». Он пытается уверить нас, что Толстой не знал страдания, не знал тернового венца и героической борьбы за убеждения, что Толстого мало любили и смерть его никого по-настоящему не взволновала.

Раз, показывая мне фотографию Толстого, Розанов сказал: «Вот, фотографию мне прислал через Страхова, а надписать ее не захотел. Ну, Бог с ним. Все-таки, знаете, какой богатырь!»

Такое же двойственное отношение было у Розанова к Вл. Соловьеву, с которым у него было много идейных разногласий и все-таки много точек соприкосновения. Некоторые идеи Соловьева он упорно игнорировал, даже презирал, вернее, они нагоняли на него скуку. По мнению Розанова, Соловьеву недоставало «русского духа», «русского тепла». Он считал его «международным, европейским писателем», рассматривая это как недостаток. «Он был весь блестящий, холодный, стальной (поразительно стальной смех у него, — кажется, Толстой выразился: “Ужасный смех Соловьева”). Соловьев был странный, многоодаренный и страшный человек».

В дни, когда Розанов трудился над книгой «Из восточных мотивов», когда весь он был погружен в Египет и ни о чем другом говорить не мог, он вспоминал рассказ Соловьева, как тот распивал шампанское у подножия какой-то пирамиды. «Какое кощунство, — волновался Розанов, — пирамида, тысячулетняя мудрость, красота, вера, все тут, а он со своим цилиндром и шампанским. Ну как тут не ругать Соловьева, вы подумайте!»

О Чехове Розанов сказал однажды так: «Чехов? — ничего особенного. У меня он вот где сидит (показал на шею). — Что Чехов? Глядел на жизнь, что видел, то и записал. Очень милый писатель, понравился, стали читать. Но он холодный, и ничего особенного. Успех его понимаю, только не одобряю». Об Ин. Анненском: «Из декадентов он мне больше всего нравился. Запишите о нем все, что помните, чтобы осталось в литературе. Как ужасно он умер, внезапно и так рано»⁷.

Перейдя на мысли о смерти, сказал (это было в 1916 г.): «Ну вот, исполнилось мне 60 лет, еще несколько годков — и могила».

Про «Новое время» говорил в 1917 г. (после революции): «Вот ничего не печатают, сволочи, — сердито роясь в рукописях. — Ведь это все деньги, а лежат зря».

Меньшикова В<асилий> В<асильевич> недолюбливал, порицал за жадность.

Общность некоторых устремлений связывала Розанова с А. Л. Волынским. Но по складу ума, по манере мышления они всегда были чужды друг другу. «Очень уж вы последовательны, — говорил Розанов Волынскому, — очень уж обтачиваете мысль. Вдобавок, у вас римский нос, а мы, русские, любим нос “картофелькой”: вот римский-то нос и мешает нашей близости». Он называл Волынского «евреем-православником», очень ценил его интерес к православию, к личности Христа, к судьбе церкви и пр. Особенно же дорог был Розанову поход, предпринятый Волынским против критиков-радикалов. Однажды в Малом театре, на выступлении Айседоры Дункан, одновременно присутствовали Волынский и Розанов. Внезапно последний выбежал из ложи, направился к сидящему в партере Волынскому и поцеловал его, сказав: «Вспомнил ваш подвиг с русскими критиками и побегал вас поцеловать».

О Мережковских он избегал говорить. Только раз сказал со страхом про З. Н. Гиппиус: «Это, я вам скажу, не женщина, а настоящий черт — и по уму и по всему прочему, Бог с ней, Бог с ней, оставим ее...»

С интересом говорил о Евг. В. Иванове.

В те годы, когда я бывал у Розанова (1915–1917 гг.), Религиозно-философское общество уже не заглядывало на его «воскресения». Многие писатели порвали с Розановым по так называемым «моральным» причинам, ничего общего с подлинной моралью не имеющих. Из писательской братии продолжали изредка бывать у него, если не ошибаюсь, — А. М. Ремизов, К. И. Чуковский, М. А. Кузмин, Н. О. Лернер, А. А. Измайлов и кое-кто из «правого лагеря».

Новых писателей, «молодых», Розанов почти не читал и был к ним равнодушен. Однажды принес из кабинета в столовую целую кипу книг Брюсова и, положив передо мной, сказал: «Ну-ка, покажите, что тут есть хорошего — Вы знаете в этом толк, я ничего не понимаю». Книжки были с автографами Брюсова, но и эта почтительная предупредительность не повысила внимания к ним Розанова. Вяч. Иванова он считал «Семирадским в поэзии»⁸, но охотно верил, что он «настоящий поэт», потому что «Поликсена Соловьева сказала, что у него есть два-три гениальных стихотворения, а этого достаточно, даже если остальное хлам и неразбериха».

В библиотеке В<асилия> В<асильевича> была особая полка, на которой стояли, кроме его собственных сочинений (переплетенных кем-то в роскошные красные кожаные переплеты), «Столп и утверждение истины» Флоренского, «Русские ночи» В. Одоевского и еще что-то, все в одинаковых переплетах. Любимыми его писателями после Достоевского были Н. Страхов и Лесков.

Менее определено было отношение Розанова к искусству изобразительному. Разумеется, он не мало понимал в этой области, «чуял» прекрасное, как никто, но особых пристрастий и верований, кажется, не имел. Достаточно сказать, что он способен был одновременно восхищаться грубым, вульгарным анекдотизмом Репина и тонкой, нежной молитвенностью Нестерова.

С большой симпатией относился Розанов к Александру Н. Бенуа. В одном из писем ко мне он писал: «Лукомскому и А. Н. Бенуа привет. Бенуа и любовь. Умный». В другом предсмертном письме он снова шлет привет «благородному Саше Бенуа».

Интересовался Розанов скульптурой Паоло Трубецкого. Очень дорог ему и близок был весь «Мир искусства». Сам не будучи «эстетом», он умел ценить «эстетизм» в других. Древность, античное искусство, классицизм повергали его в умиление. Отсюда — любовь к нумизматике, особенно к древнегреческим монетам. Была у него монета с «Афиной, окруженной фаллосами», — предмет частого любования и нескончаемой радости.

С Нестеровым Розанова связывала давняя дружба. Приезжая из Москвы, художник непременно навещал В<асилия> В<асильевича>. Помню одно из таких посещений, необычайно занимательную беседу, в которой собеседники с полуслова угадывали мысли друг друга, и чувствовалось, как много созвучий в их душах. Запомнился мне один эпизод, характеризующий рассеянность В<асилия> В<асильевича>. Я собрался уходить, Нестеров остался в столовой. Прощаясь со мной в передней и целуя, Розанов сказал: «Ну, счастливого пути, Христос с вами. Поклон москвичам, Флоренскому непременно, Булгакову и всем, кого увидите». — «Почему москвичам, В<асилий> В<асильевич>?» — «Ах, забыл я — ведь москвич-то Нестеров, а не вы... Ну, я с Нестеровым целуюсь и с вами целуюсь, вот и спутал...»

Великолепен бывал Розанов в полемике. Это не были в сущности «споры» (ибо какой же спор возможен с Розановым), а так, умственный турнир, фехтование. Вспоминаю одно из «воскресений» (день приемов), когда В<асилий> В<асильевич> был особенно в ударе. Публика собралась разная: много дам-«поклонниц», какая-то маленькая писательница с оригинальной фами-

лией (не помню, кажется, Безграмотная или нечто в этом роде), какой-то художник из Крыма, проф. В. В. Суслов, А. М. Коноплянцев⁹, Ф. Я. Тигранов и др. Разговор был жаркий, перекрестный, причем весь «жар» проистекал от Розанова, который весь был в потоке мыслей, образов, мимики, жестов. Он так увлекался порою, что впадал в «неприличие». — «Что? Автономная Украина? — кричал он на девицу, набожно глядевшую ему в рот. — Вот вам автономия!» — и кукиш взлетел к носу девицы. Он не стеснялся, если нужно было (по ходу мысли) касаться «альковных тайн», а однажды поведал, что когда пишет, то «для вдохновения» держится левой рукой за «источник всякого вдохновения» («лучше пишется»).

Типично для Розанова, что в разговорах о литературных и общественных деятелях он больше всего интересовался личностью, «лицом» данного человека. — «А как он выглядит? Сколько лет ему? Женат? Дети есть? Как живет? Состоятельный или бедняк?» «Физиология» человека занимала его в первую голову. Отсюда он выводил все остальное. Многие «левые» деятели были ему как-то физиологически антипатичны. Значит, и «труды их не стоили внимания». «Не целоваться же с ними». Вообще в человеке он прежде всего любил и почитал человека, а уж потом его «шкуру» и «разные разности».

Проблема пола (в аспекте религиозно-философском) была любимой темой разговоров Розанова. Но он предпочитал говорить на эту тему «с глазу на глаз», а не в большом обществе. «Вообще, знаете, об этом нужно говорить *шепотом*, — он понизил голос и весь как-то сжался, — *шепотом*, как о самом тайном, о священном... А мы горланам, книги пишем, бесстыдники».

Его тяготение к половой проблеме, по-видимому, не встречало сочувствия со стороны «домашних». Он заговорил однажды о новой своей «половой статье», восторженно, с подъемом. «Гадость ты написал, больше ничего», — сказала одна из его дочерей с гримасой. В<асилий> В<асильевич> затрясся в беззвучном смехе. «Вот так лет пять она будет твердить — “гадость, гадость”, а потом поймет и еще как поймет...»

Дочери часто с ним спорили, одна из них нередко прибегала к истерике как аргументу неопровержимому. Жена В<асилия> В<асильевича> просто засыпала на этих беседах (от болезненной слабости, но и от скуки). Видимо, она была вне круга розановских мыслей. Но он очень ценил ее, считал «нравственным гением», заботился очень. Иногда бывал с ней резок. Один раз ответил ей грубовато на какой-то вопрос. Но когда она вышла из комнаты, вдруг всполошился. «Знаете, я, кажется, мамочку мою

обидел, — пойду попрошу прощения», и шаркающей, семенящей своей походкой прошмыгнул в соседнюю комнату. Пошептался там, пришел назад, сияющий: «Ну, вот, все хорошо».

Насмешник он был большой руки. Злая издевка не была ему свойственна, сарказм его был добродушен, но в известных случаях неумолим.

Насколько отчетливы были литературные симпатии и антипатии Розанова, настолько трудно разобраться в его общественно-политических вкусах. «Когда начальство ушло», он принялся бранить начальство. Когда оно снова «пришло», он стал критиковать его врагов. То восторгался революцией, то приходил в умиление от монархического строя. Очень любопытно было в Розанове совмещение психологического юдофильства с политическим антисемитизмом. Он питал органическое пристрастие к евреям и, однако, призывал в свое время к еврейским погромам за «младенца, замученного Бейлисом». Одновременно проклинал и благословлял евреев. Незадолго до смерти почувствовал раскаяние, просил сжечь все свои книги, содержащие нападки на евреев, и писал покаянные письма к еврейскому народу. Впрочем, письма эти загадочны: в них и «угрызения совести», и нежность, и насмешка¹⁰. Несомненно одно: «антисемитизм» Розанова и антисемитизм «Нового времени» — явления разного порядка. Вообще в консервативном лагере Розанов очутился случайно, вовсе не стремился «пристроиться» там, а просто «пригнало течением» к правому берегу. «Я писатель, а не журналист, — говорил не раз В<асилий> В<асильевич>, — и мое дело писать, а куда берут мои статьи — мне все равно».

Помню, в каком экстазе был В<асилий> В<асильевич> в 1917 г. после Февральской революции. Он тревожился, волновался, но вместе с тем восхищался событиями, уверял, что все будет прекрасно, «вот теперь-то Россия покажет себя» и т. д. В одном письме он говорил: «Я разовью большую идеологию революции и дам ей оправдание, какое самой революции и не снилось».

Продолжался этот восторг недолго. Наконец, стало совсем не до восторгов, когда придавила нужда. Не раз приходилось унижаться ради куска хлеба. Писатель, всю жизнь упорно трудившийся, собирал окурки у трактиров и на вокзале, чтобы из десятков окурков собрать табаку на одну папиросу. «Из милости» пил чай у какого-то книготорговца.

Но все так же клокотала в нем мысль, жажда жизни, жадный интерес к людям. Как человек голодный и холодный, он «сдал». Но как писатель не «поджал хвоста» и ни к чему не

«примазался». Бегство Розанова в 1918 г. в Сергиев Посад¹¹ многие объясняли малодушным желанием скрыться с горизонта. Отчасти это верно. В<асилий> В<асильевич> пережил состояние отчаянной паники. «Время такое, что надо скорей складывать чемодан и — куда глаза глядят», — говорил он. Но вовсе не был он трусом. В московской газете «Вертоград»¹² он помещал статьи довольно рискованные и в своем «Апокалипсисе» обнаружил не малое бесстрашие. Осенью 1918 г., бродя по Москве с С. Н. Дурылиным, он громко говорил, обращаясь ко всем встречным: «Покажите мне какого-нибудь настоящего большевика, мне очень интересно». Придя в московский Совет, он заявил: «Покажите мне главу большевиков — Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я — монархист Розанов». С. Н. Дурылин, смущенный его неосторожной откровенностью, упрямил его замолчать, но тщетно.

Что бы ни творилось в России — он любил Россию, любил страстной, ненасытной, преданной любовью. Не слепая была эта любовь, не зоологический патриотизм: вера, вера в Россию, нежность к ней безмерная. В одном из последних писем ко мне он писал: «До какого предела мы должны любить Россию: до истязания, до истязания самой души своей. Мы должны любить ее до “наоборот нашему мнению”, убеждению, голове. Сердце, сердце, вот оно. И если вы встретите Луначарского — ищите в нем тени русской задумчивости, русского странствия по лесам и горам»¹³.

